

Глава 1

Шептун наклонился к полуяру. Тот посмотрел на него отрешённо и нежно. Тогда Шептун, в миру его иногда называли Славой, что-то забормотал над уходящим. Но полуяр вовсе не собирался совсем умирать: он ласково погладил себя за ушком и улыбнулся, перевернувшись вдруг на своё ложе как-то по-кошачьи сладостно, а вовсе не как покойник. Но Слава шептал твёрдо и уверенно. И они вдвоём рядышком были совершенно сами по себе: вроде бы умирающий Роман Любув и что-то советующий ему человек по прозвищу Шептун: ибо он обычно нашёптывал нечто малопонятное окружающим.

Правда, окружение его было совершенно дикое. Дело происходило в конце второго тысячелетия, в Москве, в подвале, или, точнее, в брошенном «подземном укрытии» странноватого дома в районе, раскинувшемся вдали и от центра, и от окраин города. Однако окружающие дома здесь производили впечатление именно окраины, только неизвестно чего: города, страны, а может быть, и самой Вселенной. Некий жилец с последнего этажа небольшого дома так и кричал, бывало: «Мы, ребята, живём на окраине всего мироздания!!

Да, да!!» Многие обитатели, особенно пыльные ста-
рушки, вполне соглашались с этим.

В «подвале» (точнее, в «подземном царстве») жили бомжи, а если ещё точнее, бывшие видные учёные, врачи, эксперты, инженеры, но и бывших рабочих тоже хватало. Никакого социального рас-
слоения там уже не было.

Полутруп расположился в углу, на кровати из хлама, где не было даже лоскутного одеяла, зато на воле стояло жаркое лето. Шептун шептал ему о том, чего нет.

— Да не полутруп он вовсе, не полутруп! — за-
визжал вдруг диковатый, как сорвавшийся с цепи, старишок из дальнего угла.

— Он уже сколько раз умирает, и всё ничего! Сёма у нас гораздо больше на полутруп похожий, если взглянуться как следует, особенно со стороны души! Правда ведь, Семён? — и старишок обратился к угрюмо бродящему в помещении среднего роста мужчине. Тот кивнул головой и промолчал.

В стороне кто-то выл:

— Всё погибло, всё погибло!

На него никто не обращал внимания.

Шептун Слава отпал. Это потому, что Роман-полутруп изумил его своей лаской. Он опять повернулся, причём на бок, и положил свою ручку под щёчку, даже чуть-чуть замурлыкал себе под нос — правда, духовно Шептун, который уводил людей перед их смертью в фантастический разум, не понимал этого. Не понимал он и того, почему Роман всё время умирает, но не до конца. Уже который раз Слава шептал ему, шептал и шептал о каких-то

чёрных норах, о золотых горах после смерти, а Роман всегда возвращался. Возвращала его к жизни тихая нежность к себе. Один учёный, из заслуженных бомжей, так и сказал про него: «Нарцисс в гробу».

С тех пор это прозвище как бы закрепилось за Романом Любувым, хотя называли его часто весьма разными именами. Известно, что бродяги и бомжи народ бестолковый.

И когда Роман положил себе ручку под щёчку, он ещё имел смелость потянуться на своей измученной кровати, словно изнеженный императорский кот.

— Ну, этот будет жить, — определил молодой очкастый блондин из бывших экспертов.

— Жизнь сошла с ума, — заключил некто в стороне.

Да Роман и не был так уж болен и стар в свои тридцать шесть лет, чтобы запросто уйти из этого мира. Шептун и тот был чуть постарше.

— Семён, а ты о чём думаешь? — спросил постоянно воюющий о гибели человек. Он перестал внезапно выть, точно остановленный какой-то мыслью, и вопросительно посмотрел на того самого, мерно шагающего назад и вперёд мужчину по имени Семён, о котором было сказано, что он больше похож на труп, чем Роман.

Семён, кстати, молодой и мощноватый человечище, остановился и так посмотрел на вопрошавшего, что тот опять завыл. Потом Семён как-то пристально добавил:

— Мне, Николай, думать и не надо. У меня взамен дум тоска есть.

Семён Кружалов этот наводил ужас на окружающих его, выбитых из ординарной жизни людей, хотя сам по себе он обычно был тихий и даже застенчивый. Ужас наводили его глаза, голос и иногда — поведение, в котором обозначалась порой страшная затаённая угроза, причём угроза совершенно неведомого рода: не убийство, не душегубство, а нечто пострашнее, а что именно — определить и понять было нельзя, потому что она никогда не переходила в действие. Но такой угрозы, скрытой и таинственной, было вполне достаточно, чтобы всякое сопротивление ему мгновенно увядало. Но особенно мучили его глаза: появлялось в них одно выражение, от которого просто отшатывались.

— Труп живой в меня вселился, вот что, — раскрыл как-то Семён Кружалов. — Вот в чём разгадка. Я уже не только Семён Кружалов, мудрый человек, но и поживший труп при этом. Поэтому и смотреть на меня жутко. Ведь это он, труп, часто сквозь мои глаза проглядывает. Он, а не кто-нибудь, — и Семён поднял указательный палец вверх. — Мне самому взглянуть бывает на себя страшно. Хорошо, что в нашем подвале нет зеркал.

В подвал, правда, заходил милиционер, но, глянув в глаза Семёну, застрелился, выйдя оттуда. К счастью, событие списали за счёт психики служивого, а на подвал махнули рукой. Семён по скромности редко рассказывал об этом. Но ясно было всем, что Роман Любуев, или Нарцисс в гробу, в смысле трупности был на десять очков ниже, чем Семён, тем более Роман слишком уж любовался своим отсутствием и безжизненностью и даже жил

этим любованием, особенно когда действительно был при смерти. Нарцисс в гробу — потому так и звали его. И конечно, Семёна он не оспаривал, он даже побаивался его. И Шептун тоже к Сёме подластивался: чего, мол, шептать такому, живой труп в нём почище всяких шалопутов может этакое нашептать, что... лучше не подходить.

Плакали в подвале очень часто, кроме Семёна, конечно, но не очень глубоко, просто оттого, что, дескать, жизнь стала какая-то непредсказуемая. Но с другой стороны, и хотели при этом много — причём от всей души.

Впрочем, шла нормальная жизнь. А хлеб повседневный каждый добывал по-своему, порой с фантазией.

У Кружалова, у единственного, была даже собственная комната, точнее, угол в этом подвале, но решительно отделённый от другого пространства, напоминающего скорее подземное общежитие или брошенное бомбоубежище, чем простой подвал. Вероятно, когда-то, лет шестьдесят назад, здесь действительно было бомбоубежище. Эта догадка веселила всех, но не больше.

— Какие бомбы на нас, бедолаг, сейчас могут падать? — тихо шептал Слава Роману Любову. — Невидимые, невидимые бомбы... Которые душу убивают...

Роман отнекивался и не верил, что душу можно убить.

Иногда точно свет какой-то возникал в этом подземелье: это приходил ночевать художник-бомж, приносивший сюда картины странного художника

Самохеева, который дарил ему некоторые свои полотна. Бомжи считали, что эти картины вообще ничего не стоят, и именно этим хороши.

— Кому, кроме нас, нужны такие пейзажи, — утверждал воющий по дням и ночам бомж Коля. — Одни гробы, из гробов нечеловеческие руки высовываются, бабы, небо хмурое и земля больная... Правда, здорово написано. Пусть и висят у нас тут, под землёю. Во-первых, видно плохо, во-вторых, красиво.

В подземелье приносили свечи, и некоторые внимательно по ночам рассматривали эти «загробные пейзажи».

Друг странного Самохеева бомжом скорее был по душе, чем по обстоятельствам, но часто, выпив стакан водки, плакал перед этими картинами...

— Мне так не нарисовать, — жаловался он.

Потом он уносил эти картины куда-то, и стены бомбоубежища долго тогда пустовали.

— От бомб жизни мы здесь спасаемся, бомжи, — нередко кряхтел старишок, указавший пальцем на Семёна: дескать, какой Роман труп по сравнению с Кружаловым, хоть и нарцисс при этом. Роман всего-навсего обычный умирающий, а вот Семён — это да...

Кружалов выделял этого старишку и никогда не пугал его своим взглядом. Старичок очень гордился этим.

Кроме себя самого, с живым трупом внутри, Семён отличался ещё одной особенностью: к нему в подземелье приходила женщина, причём красивая, молодая и очень образованная. Это поражало всех.